



# Игнатий Николаевич Потапенко

## Студент в рясе (Записки старого студента #03)



Игнатий Николаевич Потапенко — незаслуженно забытый русский писатель, человек необычной судьбы. Он послужил прототипом Тригорина в чеховской «Чайке». Однако в отличие от своего драматургического двойника Потапенко действительно обладал литературным талантом. Наиболее яркие его произведения посвящены жизни приходского духовенства, — жизни, знакомой писателю не понаслышке. Его герои — незаметные отцы-подвижники, с сердцами, пламенно горящими любовью к Богу, и задавленные

нуждой сельские батюшки на отдаленных приходах, лукавые карьеристы и уморительные простаки... Повести и рассказы И.Н.Потапенко трогают читателя своей искренней, доверительной интонацией. Они полны то искрометного юмора, то глубокого сострадания, а то и горькой иронии.

Произведения Игнатия Потапенко (1856–1929), русского прозаика и драматурга, одного из самых популярных писателей 1890-х годов, печатались почти во всех ежемесячных и еженедельных журналах своего времени и всегда отличались яркой талантливостью исполнения. А мягкость тона писателя, изысканность и увлекательность сюжетов его книг очень быстро сделали Игнатия Потапенко любимцем читателей.

# Содержание

I.....	.0006
II.....	.0024
III.....	.0038
IV.....	.0059

**Игнатий Николаевич  
Потапенко  
Студент в рясе**

Последние два курса мне пришлось прослушать в провинциальном университете.

Я рано освободился от урока, который держал меня всё лето в деревне, и приехал около 10 августа. Из товарищей ещё никого не было. Съезжались обыкновенно после 20. Было человек десять, отложивших экзамены на осень, но они очень редко попадались на глаза, потому что сидели в своих конурах и зубрили.

Доступных мне развлечений в городе не было никаких. Загородных садов тогда ещё не существовало в таком несметном количестве, как теперь, да они меня мало интересовали. Моим постоянным развлечением был театр, который ещё не открывал своих дверей для публики. В городе стояли жаркие дни, на улицах было пыльно. Совсем некуда было деваться. Поэтому волей-неволей приходилось постоянно торчать в университете, бесцельно блуждая по коридорам, с тайной надеждой, что из какого-нибудь угла выглянет знакомое лицо новоприбывшего товарища.

Но появлялись, понятно, всё только новые лица, большею частью очень юные, смотревшие робко и ступавшие нерешительно. Это были новички, явившиеся подавать прошения о зачислении в студенты.

Много было семинаристов, которым приходилось держать поверочный экзамен. Их легко было узнать по неуклюжей наружности, неловкости, неумению ступить. Они отличались также и по костюму. Большею частью они являлись в длинных чёрных сюртуках, которые остались у них ещё от семинарского кошта. Я не умел начинать знакомства. Они удавались мне только тогда, когда начинали их другие. Поэтому ни с кем из новичков я не познакомился. Но так как мне решительно нечего было делать, то я два раза забрёл в аудиторию, где производился приёмный экзамен, и от скуки слушал и смотрел. Здесь тоже я не нашёл ничего занимательно-го, и, по всей вероятности, в третий раз не заглянул бы, если бы не случилось одно обстоятельство, которое сильно заинтересовало меня.

Я был один в огромном вестибюле в то вре-

мя, когда наверху производился экзамен новичкам. Не было ни швейцара, ни служителей. Я бродил из угла в угол, изредка посматривая на входную дверь, не войдёт ли кто-нибудь знакомый. И вот дверь отворилась, и появилась фигура, показавшаяся мне странной для этой обстановки. Это было духовное лицо, какого сана, — я не мог определить. На нём была длинная ряса, с широкими рукавами, тёмно-серого цвета. На голове чёрная поярковая шляпа, порядочно затасканная. Из-под шляпы свисали на плечи длинные прямые волосы. Длинная русая борода как-то вся скомкалась на сторону. Лицо сильно обросло, и я не мог определить, молод этот человек или стар. По-видимому, он только что был в дороге, потому что ряса его, и волосы, и шляпа, — всё было покрыто пылью.

Он вошёл и как бы с некоторым недоумением стал оглядываться во все стороны, словно искал живого лица.

Я был на другом, порядочно отдалённом, конце вестибюля. В первую минуту я остановился, посмотрел на него издали, но, заметив его растерянность, я решил пойти на выручку

и сделал по направлению к нему несколько шагов.

Я подумал, что это, должно быть, родственник какого-нибудь новопоступающего студента-семинариста или, может быть, лицо, просто попавшее сюда по ошибке. С виду он походил на деревенского пастыря. Я приблизился к нему.

— Вам кого-нибудь нужно, батюшка? — спросил я.

Он, очевидно, раньше меня не видел. Когда я заговорил, лицо его прояснилось; он снял шляпу.

— Нет, — густым баском ответил он, — мне того... Мне никого не нужно, а мне бы надо узнать... Мне бы надо узнать, где тут экзамен производится...

— Экзамен? — спросил я с некоторым недоумением. — А вам зачем экзамен?

— Да мне надо бы тоже, того... Мне экзамен держать надо...

Тут уж я, по всей вероятности, весь превратился в изумление.

— Какой экзамен? — спросил я. — Разве вы... ведь это университет.

— Я знаю, — ответил батюшка, — я знаю, что университет... Вот именно университет мне и надо...

— Позвольте... Я не совсем понимаю. Вероятно, ваш родственник здесь какой-нибудь держит экзамен, и вы хотите его видеть?..

— Ах, нет же, — уже нетерпеливо произнёс батюшка, — это я сам должен держать экзамен.

— Но зачем?

— А видите, я подал прошение о приёме меня в студенты... Оно, конечно, дело неприличное, потому что я в рясе... Ну, так это ничего... Позвольте представиться: дьякон из села Богодуховского, фамилия моя Эвменидов... А вы студент?

— Да. Но я не знал, что духовные лица могут поступать в студенты.

— Да отчего же нет? Разве мы хуже других? Так, извините, где же тут экзамен держат? Я, знаете, опоздал маленько. Не рассчитал. Езды-то всех шестьдесят вёрст, на лошадях, знаете. Выехал чуть свет, а в дороге ось сломалась, пришлось починяться... Ну, вот и запоздал...

Я повёл его через длинные коридоры, потом по лестнице наверх. Но, показывая аудиторию, где производился экзамен, я делал это с глубоким недоверием; мне всё казалось, что тут есть какая-то мистификация. Но батюшка мой шёл очень твёрдо и уверенно и всё время по дороге выражал беспокойство, что экзамен уже кончен и ему не удастся выдержать его.

— А вы на какой факультет поступаете? — спросил я.

— Я, знаете, на математический...

Моё удивление после этого ответа возросло ещё больше.

— Вы, значит, кончили семинарию?

— Нет, семинарию-то я не кончил. Я кончил философский класс — так, знаете, это в прежние времена называлось — и перешёл в богословию; но тут, знаете, произошла одна неприятная история... Так, знаете, с отцом-инспектором не ладили, ну, и пришлось выйти. А тут дьяконское место подвернулось; я, знаете, женился и стал служить в приходе... А к математике я всегда склонность питал. А вот несколько лет назад распоряжение такое вышло, чтобы семинаристов, кончивших об-

цеобразовательный курс, в университет с поверочным экзаменом принимать. Я и подумал: отчего ж бы мне не поступить? Общеобразовательный-то курс я окончил. Что ж такое, думаю, что на мне ряса, — это ничего. И обратился я по начальству, то есть, по духовному своему начальству. Спрашиваю: можно ли, дескать, мне в университет постучаться? Архиерей к себе потребовал. Сперва, это, даже косо посмотрел на меня; думал, должно быть, Бог знает что такое; начал расспрашивать, что да как, да почему, да откуда такое желание и прочее. Я, известно, всё рассказал ему: вот, говорю, к математике всегда питал склонность, а теперь разрешение вышло, так вот я и вздумал. «А для какой цели?» — спрашивает преосвященный. — «А для той, говорю, цели, ваше преосвященство, чтобы, во-первых, знать, а во-вторых, в духовно-учебных заведениях математику буду преподавать. У нас ведь своих преподавателей математики нет, наши академики по этой части никуда не годятся. Задачи на уравнение с тремя неизвестными решить не могут, а уж бином Ньютона им кажется таким же чудови-

цем, как сам Вельзевул... Так вот оно и приятнее, когда свой человек, духовный, будет в духовном заведении математику преподавать. А то ведь всегда приходится приглашать из гимназий да из других светских школ...» Подумал преосвященный, подумал и сказал: «что ж, говорит, это справедливо, это в самом деле приятно. Ну, говорит, иди с миром и поступай в университет, а только как же, говорит, ты с приходом будешь?» Я говорю, что приход, известно, придётся оставить. — «А семья? семья-то у тебя большая?» — «Жена, — говорю, — да трое детей». — «Что ж ты с ними делать будешь?» — «А жену с детьми, — говорю, — ваше преосвященство, к тестю пошлю, пускай тесть кормит их». — «А сам как проживёшь?» — «А сам как-нибудь пропитаюсь. У меня на подворье монах знакомый есть, вот я около этого монаха, ваше преосвященство, и буду кормиться. Ведь недолго, всего только четыре года». Ну, одним словом, архиерей благословил меня. Тогда я взял да и подал прошение, да и бумаги свои послал. Тут тоже сомнение было. Долго они мои бумаги рассматривали, потом с духовным начальством

снеслись, да видят, что всё в порядке, философский класс кончил, значит, под правило подходит, — как тут отказать? — и не отказали, и даже особенную любезность сделали, — ответ прислали, что, мол, допущен к поверочному экзамену по русскому, латинскому и греческому языкам и по математике. Ну, вот я и приехал.

В это время мы подошли к аудитории, где производился экзамен по математике. Я указал ему на дверь. И он вошёл. Я, конечно, полный любопытства, последовал за ним.

Появление духовной особы в университетской аудитории произвело сенсацию. На скамьях было всего душ двадцать молодых людей. Один стоял у доски и усердно доказывал какую-то теорему, профессор сидел за столиком и слушал его очень невнимательно, по видимому, совсем не придавая значения ни тому, что он говорил, ни самому экзамену. Экзамен вообще производился формально, наименьшей отметкой была тройка. Почти все, поступавшие в университет из семинаристов, избрали филологический или юридический факультеты, очень редко занимались есте-

ственными науками и почти никогда не дерзали избрать математический. Поэтому с ними были строги на экзаменах из латыни и греческого и смотрели сквозь пальцы на их слабые познания в математике. Им задавались совсем детские задачи, но случалось, что и перед ними они становились в тупик. Тогда профессор просто говорил: «ну, хорошо, довольно», и ставил тройку.

При нашем появлении в аудитории все обернулись к двери и долгим взглядом посмотрели на моего спутника. Профессор поднял голову, а стоявший у доски положил мел и оборвал свой ответ.

— Сядемте здесь, — тихонько сказал я батюшке и указал ему на место на скамье.

Батюшка сел, а я рядом с ним. Это сразу разочаровало всех. По-видимому, ожидали, что батюшка к кому-нибудь обратится с вопросом, выскажет какое-нибудь желание чем-нибудь проявить себя, так как странно было предполагать, что он явился в аудиторию ни за чем. Общее разочарование разделял, очевидно, и профессор. Он подождал минуты три, затем спровадил стоявшего у доски,

поставив ему по этому случаю четвёрку, и, подойдя к нашей скамье, промолвил:

— Вам, батюшка, кого-нибудь надо?

Отец Эвменидов поднялся, почтительно приосанился и пригладил свои волосы.

— Я на экзамен пришёл, господин профессор! — ответил он.

— Ну, да, здесь идёт экзамен, — ответил профессор, — но вам кого-нибудь надо или вы просто хотите послушать?

— Нет, господин профессор, я сам для экзамена пришёл.

— Вы? Вы хотите держать экзамен? — уже с некоторым недоверием спросил профессор.

— Желаю, господин профессор, — ответил отец Эвменидов.

— Значит, вы поступаете в студенты?

— Точно. Подал прошение. Получил даже ответ, чтобы явиться на экзамен: вот я и явился.

— Да, вот что!.. — промолвил хотя и не вполне ещё доверчиво, но уже с некоторым примирением профессор. — Значит, вы поступаете в университет?.. Это, кажется, первый случай, что духовные лица делаются студен-

тами.

— Этого не могу знать. Действительно, были затруднения... Я к преосвященному просьбу подавал... И мне разрешено.

— А на какой факультет?

— Желаю по математической части.

Профессор усмехнулся.

— Прекрасно, — сказал он. — Вы хотите держать экзамен. Ну-с, не угодно ли вам пожаловать к доске?

И он несколько отошёл от скамьи, как бы желая пропустить мимо себя отца Эвменидова.

Отец Эвменидов вышел из-за скамьи и направился к тому месту, где стояла доска. Профессор, глядя ему в спину, с лёгкой усмешкой смотрел на аудиторию, как бы заранее предвешая, что там, около доски, сейчас произойдёт что-то смешное. Никак не ожидал он, что этот человек с загорелым лицом, с длинными волосами, в длинной одежде с широкими рукавами, с таким простым деревенским видом, может обнаружить какие-нибудь познания в математике. Наверно, он подумал, что это — чудак, что на него напала блажь, что он не

имеет ровно никакого представления о предстоящей ему задаче. Он пошёл вслед за Эвменидовым и занял своё место за столиком.

— Ну-с, извольте, батюшка, решить мне следующую задачу...

И он задал отцу Эвменидову какую-то детски простую задачу на уравнения.

Эвменидов записал на доске всё, что ему продиктовали, затем оглянулся и посмотрел на профессора.

— Это весьма легко, господин профессор! — сказал он. — Это я могу в уме решить...

— Ну, решите! — промолвил профессор.

— А вот сейчас.

Эвменидов с минуту подумал и даже пошептал губами, потом, как бы для памяти, написал на доске какую-то коротенькую формулу и затем объявил решение.

— Правильно! — сказал профессор. — Я вижу, батюшка, вы кое-что смыслите. А ну-ка, решите вот это! Уж это будет потруднее...

И он продиктовал нечто в самом деле чрезвычайно сложное, так что у остальных, сидевших на скамьях, тотчас же явилось глубокое сомнение в способности Эвменидова ре-

шить задачу. По крайней мере, далеко не все из них могли бы с уверенностью сказать это о себе.

Эвменидов записал.

— Ну, что ж, — сказал профессор, — берётесь?

— А почему ж нет? — просто отозвался ба-  
тюшка. — Я решу.

И он начал усердно писать на доске алгебраические выкладки. Профессор чрезвычайно внимательно следил за его работой, а потом, сильно заинтересовавшись, встал и подошёл к нему.

— Верно, верно, — говорил он, видимо, стараясь поощрить его, — совершенно верно. Однако, признаюсь, я никак не ожидал, что вы, ба-  
тюшка, такой математик.

— Я люблю математику, — сказал Эвменидов, не переставая в то же время делать свои вычисления.

— Да любить мало, надо ещё знать! — заметил профессор. — Вот и эти молодые люди, — прибавил он с иронической усмешкой, указывая на аудиторию, которая в общем дала ему не особенно высокое понятие о своих

познаниях в математике, — эти молодые люди тоже наверно любят математику, но плохо знают...

Аудитория дружно засмеялась, а отец Эвменидов в это время кончил свою задачу и очень спокойно положил мел на место.

— Ну, батюшка, великолепно! Прошу вас извинить меня за сомнение! Признаюсь, это первый случай. Я думал, знаете, что духовные особы умеют только обедню служить, — вот и ошибся. С удовольствием приветствую такого студента на математическом факультете, с искренним удовольствием! Вы и геометрию знаете?

— Как же не знать? Знаю. Я и по тригонометрии хорошо учился.

— Это удивительно. Где же это вы всему этому научились?..

— Да видите, господин профессор, это у нас в семинарии проходится. Оно, конечно, там на математику смотрят не строго, а даже очень мягко... Ну, а кто любит, — тот сам от себя пополняет... Вот я и пополнял...

— А вы давно из семинарии?

— Да уже лет, я полагаю, восемь будет.

— И до сих пор не забыли?

— Да я понемногу занимался... Так, знаете, между делом, между двумя требами, иной раз и решишь задачку... У меня есть влечение... Хожу это себе иной раз по огороду или по палисаднику, а в голове у тебя какая-нибудь теорема сидит. Иной раз даже так случалось, что во время самой службы церковной, среди эктении, поймаешь себя на какой-нибудь задаче... Так, знаете, цифра сама в голову и лезет, и никак от неё не отобьёшься...

— У вас, значит, талант к математике...

— Не знаю, может, и талант...

— А вы извините меня, батюшка, я не то чтобы не верил вам, а так, очень уж мне любопытно посмотреть, как вы одну задачку решите. Попробуйте-ка вот это.

И профессор начал диктовать ему что-то такое, что показалось всей аудитории очень странным и новым. Отец Эвменидов записывал, но от времени до времени сомнительно поглядывал на профессора.

— Вы понимаете, в чём дело? — спросил профессор.

— Я, господин профессор, понимаю, только

решить этого не могу... Это уже из высшей математики будет.

— А вы попробуйте.

— Я попробую. Я не то чтобы был совсем уже чужд, я и насчёт высшей математики кое-что прочитывал... И даже пробовал; только трудно... Знаете, на самом главном сбиваюсь.

— Ничего, ничего, вы начните, я вам помогать буду.

— Я бы так вот начал...

И Эвменидов начал решать задачу. Он, видимо, с большим усилием вдумывался в каждую букву, профессор подсказывал ему, и он потихоньку двигался дальше. Но вот он остановился, вынул из кармана платок и вытер вспотевшее лицо.

— Трудно, господин профессор, очень мне это трудно! — промолвил он и положил мел. — Уж чего не знаю, за то и не берусь...

— Это не обязательно, батюшка, это я так, любопытствовал... Да, у вас есть математические способности... Очень приятно будет работать с таким студентом, право... Я вам поставлю пять.

— Вот спасибо! — с искренним удовольствием промолвил Эвменидов, широко улыбнулся и поклонился профессору. — Значит, теперь я могу уходить?

— Да, теперь все уйдут, мы уж кончили экзамен.

Эвменидов ещё раз поклонился и пошёл на прежнее место. Профессор, захватив бумаги, в которых записывал отметки, и простившись со всеми, ушёл. Тотчас же Эвменидова, а вместе с ним и меня, окружила вся аудитория.

Все гурьбой вышли в коридор.

Здесь подобралась новая группа студентов, многие из старых. Все ужасно заинтересовались дьяконом, явившимся держать экзамен по математике.

Эвменидова спрашивали, откуда он приехал, где учился, как живёт, есть ли у него жена и дети. Пока группа дошла до вестибюля, где висели пальто студентов, все перезнакомились с Эвменидовым, да кстати и между собой.

— Ну, слава Тебе, Господи, — говорил Эмменидов, когда мы вышли во двор. При этом он почему-то больше обращался ко мне. — Слава Тебе, Господи, что поспел. Ведь еле-еле попал, последним пришлось держать... А профессор добрый... Разговорчивый такой. Теперь вот латынь ещё да греческий; греческий ещё как-никак, а латыни я боюсь, слаб я всегда был по этой части...

— Пустое! — успокоил его кто-то, — здесь нестрога экзаменуют...

— Да ведь кого не строго, а кого и строго... Вас много, ну к вам они уже пригляделись и так это незаметно одного за другим и пропускают, а я как появлюсь в рясе-то своей, так сейчас на меня особенное внимание обращают... Сейчас это и думают: ишь ведь он в рясе таких ещё у нас не бывало. И сомнение является, дескать, — где же ему, деревенскому дьякону, что-нибудь знать, ну и придирка пойдёт... Очень я опасаясь латыни...

— А вы, батюшка, куда же это поворачиваете? — спросили его студенты, когда мы вы-

шли на улицу и вся группа повернула направо, а отец Эвменидов взял налево.

— А я к себе... — ответил Эвменидов.

— Да вы лучше с нами зайдите; тут есть трактирчик, мы там и пообедаем. Да и выпьем что-нибудь, вспрыснем, знаете, благополучный исход экзаменов.

Эвменидов усмехнулся и покачал головой.

— Нет, оно, знаете, мне неприлично; я, хотя, может, и буду студентом, а всё ж таки сан этого не позволяет. Прощайте, господа; на латыни, может, увидимся... А когда латынь-то? — спросил он, вдруг вспомнив, что не знает этого.

Ему объяснили, что остальные экзамены назначены в последующие три дня.

— Ну, это слава Богу; значит, не задержусь здесь. А вы тоже в трактир? — спросил он меня.

— Нет, я могу пройтись с вами... Я недавно позавтракал, мне есть не хочется.

— Так пойдёмте. Вы мне про порядки здешние расскажите, а то я, знаете, так чувствую, словно в воду с головой окунулся... Я тут недалеко... Знаете Церковный переулок?

Так вот!

— Это, кажется, близко, — ответил я, ещё не довольно хорошо знавший город.

Мы простились с остальными товарищами и пошли налево.

— Знаете, — говорил мне отец Эвменидов, — хотя, конечно, все товарищи одинаковы и я ровно никого не знаю, а всё же мне как-то к вам легче обращаться, потому вас я первого встретил. Вы мне и экзамен показали. Не знаю, как дальше будет, а теперь мне, знаете, трудновато.

— Да вас что собственно затрудняет? — спросил я.

— А то, что, первое дело — будущность ещё неизвестна, выдержи ли экзамен, или нет, кто его знает. Вот латынь меня может подъедрить.

— Нет, вы не бойтесь, — успокоил его я. — Так как вы поступаете на математический и получили хорошую отметку по математике, да ещё так отличил вас профессор, — то по остальным будут к вам снисходительны. Ведь для математики ни латынь, ни греческий не нужны.

— Ах, если бы так! А есть ещё и другое. Я, видите, ещё на приходе числюсь. Нельзя же было так, зря, отказаться и в заштат выйти. Вдруг экзамен не выдержишь, тогда без места останешься. Так вот я и числюсь, а настоятель у меня строгий. Старый человек, знаете, и старых понятий. И когда это я высказал ему своё желание поступить в университет, так он и руками на меня замахал и хотел даже эпитимию мне назначить. «Я, — говорит, — тебя за такие мысли заставлю во время всеобщей всенародно среди церкви сто поклонов ударить». И как я ему ни толковал, что в этом моем желании нет никакого греха — не понял. И с тех пор стал ко мне придирается. В прежнее время ничего, даже добр был ко мне, а как узнал, что я учиться хочу, да ещё в светском заведении, да ещё математике, так прямо на каждом шагу придирки строит. Пою я это на клиросе, и пою, как всегда: уж, конечно, за восемь лет-то я службу изучил, — а он из алтаря мне ворчит: «не так, — говорит, — поешь, это, — говорит, — оттого, что ты всё о математике думаешь...» И на каждом шагу всё не так да не так... «Вишь, — говорит, — то-

же в учёные лезет, и не к лицу, — говорит, — это тебе, — какой же может быть учёный в рясе?» А я, право, не понимаю, отчего ряса мешает быть учёным человеком? И теперь я, как собрался держать экзамен, отпросился у него на несколько дней, а он опять строгости: «поезжай, — говорит, — поезжай, только ежели какая треба случится, я из твоего дохода штраф вычту». И это не то, чтобы шутка, а он таки вычтет. Странно даже, злоба в нём какая-то явилась против меня. Хотя, ей-ей, я никогда ему ничего не сделал, и жили мы всегда дружно. Вот что значит человек старых понятий, никак втолковать ему нельзя. Так вот и приходится торопиться. Я, если и примут меня в студенты, всё ж таки сперва на приход должен съездить, чтобы, как следует, по форме, настоятелю свою должность сдать и в заштат подать. Конечно, временно, пока кончу курс. И только, когда бумага получится, тогда могу приход оставить, а раньше никак нельзя. Настоятель мой целую бурю подымет. Вот тут и вертись.

— А вы теперь один приехали? — спросил я.

— Нет, не один; очень уж жена моя беспокоилась. Говорит, я здесь пять дней ни есть, ни спать не буду, всё мне будет казаться, что с тобой там какая-нибудь беда приключилась. Ну, вот, пришлось забрать жену и детей. Ещё слава Богу, что знакомый монах отыскался, так мы там на подворье и приютились. Ну, вот это, кажется, и есть мой переулок.

Я подтвердил. Мы действительно пришли, куда следует.

— Так вот тут в переулочке и подворье. Да вы не зайдёте ли? С женой познакомитесь и с монахом тоже; он славный.

Я охотно выразил желание зайти к нему. Меня очень интересовало посмотреть, как он живёт, какая у него жена и дети, да и монаха не прочь был я поглядеть. Я никогда ещё в жизни не сталкивался с монахами и не бывал ни в монастырях, ни в подворьях.

Мы повернули в узкий переулок и, пройдя десятков пять шагов, вошли в обширный двор, застроенный одноэтажными флигельками. Во дворе, по разным углам, на деревянных лесенках, которые вели на крылечки, сидели люди мирского вида. Очевидно, это бы-

ли постояльцы. Среди них я не заметил ни одного монаха. Увидев духовную особу, в лице отца Эвменидова, они все почтительно встали и столь же почтительно пропустили нас мимо себя, когда мы входили в один из флигелей.

Пройдя сени, мы вошли в довольно большую комнату с тремя окнами во двор, обставленную так, как обставляются обыкновенно комнаты на постоялых дворах. Тут было две кровати, стол и несколько стульев. В углу висело множество икон без киотов и без рам. На стенах были приклеены, тоже без рам, картины, изображавшие сцены из жизни святых, но большею частью Афонскую гору с разных сторон. В комнате носился приятный запах кипариса. Довольно ещё молодая женщина сидела на кровати и, держа на руках девочку двух лет, убаюкивала её. Девочка спала. Двое других детей, постарше, стояли у подоконника и внимательно смотрели сквозь окно во двор.

— Ну, благодарение Создателю, — весело пробасил отец Эвменидов, обращаясь к жене. — Математику выдержал и студента с со-

бой привёл. А я и фамилии-то вашей не знаю, — прибавил он, обратившись ко мне.

Я сказал свою фамилию и, подойдя к жене отца Эвменидова, подал ей руку. Она с большим трудом освободила правую руку из-под младенца и подала мне свою.

Это была женщина уже с утомлённым и несколько поношенным лицом, на котором отражались все невзгоды и заботы её жизни. Взгляд у неё был спокойный, уравновешенный. Радостное известие, сообщённое отцом Эвменидовым, по-видимому, очень мало тронуло её. Когда она заговорила, то в тоне её голоса слышалось как бы некоторое недоверие к его планам.

— А вы разве не рады, что ваш муж выдержал экзамен? — спросил я, когда мы остались с нею вдвоём, так как отец Эвменидов отправился за чем-то к монаху.

— Нет, что ж... Отчего же? Оно бы хорошо, только выйдет ли что... Неизвестно! — каким-то старушечьим тоном промолвила она, и этот тон так мало гармонировал с её молодыми глазами.

— Отчего ж вы думаете, что не выйдет? —

спросил я.

— Да никогда этого ещё не бывало. Не слышала я. Вот уж сколько лет живу на свете, а не слыхала. Что ж, теперь у нас, по крайности, приход есть. Доходы, конечно, небольшие, а всё же жить можно. А с этой учёностью, первое дело, приход потеряем... А там неизвестность... Ежели ничего не выйдет, так опять придётся ему лазать по консистории, да по благочинным, да архиерею в ноги кланяться. Пока ещё выйдет место!.. А я теперь должна на шее у родных сидеть. Да и ему трудно будет здесь жить, и от нас далеко, и средств своих у него никаких нет...

— Так ведь ваш муж может жить здесь вместе с монахами...

— А с какой стати ему на шее у монахов сидеть? Он им не родня... Нет, уж, право, не знаю, что тут хорошего...

— Значит, вы не одобряете его? Не поддерживаете?

— Да я что ж... Я ему ничего не говорю. Один раз только заикнулась, что, мол, надо сперва взвесить это да обдумать, — так он такие слова начал говорить, что мне даже

страшно стало. «Вот, — говорит, — как ты на моё душевное стремление отвечаешь. Я, — говорит, — к высшему стремлюсь, а ты этого понимать не хочешь; я, говорит, в тебе, как в жене своей, как в друге, поддержки ищу, а ты меня, говорит, холодной водой окатила...» И до того расходился, что даже нехорошо ему сделалось и плакать стал. Уж я не рада была, что и сказала... И с тех пор ничего против него не говорю, — пусть делает, как знает. Ему же хуже будет...

В это время отец Эвменидов вернулся, но не один, а с монахом. Монах был ещё нестарый. Высокий, статный, довольно плотный, с красивым лицом, украшенным длинной, тёмной бородой, с большими спокойными глазами, с широким лбом, с матовым цветом лица, с длинными, волнистыми волосами, он сразу произвёл на меня чрезвычайно приятное впечатление. В особенности понравилось мне странное выражение его глаз: твёрдое и вместе с тем необыкновенно ласковое и как бы ко всему на свете доброжелательное.

Он подошёл ко мне с улыбкой и просто, по-светски, протянул мне руку.

— Очень приятно, очень приятно! Вот познакомьтесь с нами и будете у нас бывать. Я люблю молодых людей. Я люблю тех, которые наукам обучаются. Вот и наш отец дьякон задумал учиться. Что ж, это хорошо. В этом никакого греха нет... Учёность никому не мешает. У нас даже на Афоне есть глубоко-учёные люди... Один доктор есть, например... Очень учёный человек, и стихи пишет... Разумеется, духовного содержания... Они напечатаны, я когда-нибудь дам вам прочесть, непременно дам. Ну, что ж, отец дьякон, давайте угостим молодого человека. Уж вы извините, — обратился он ко мне, — у нас пища скудная, монашеская. А, впрочем, сыты бываем... Вот мы сейчас...

Он подошёл к двери, полуотворил её и промолвил громче обыкновенного:

— Евфимий, а Евфимий!..

— Я здесь, отец Мисаил! — откликнулся из глубины коридора молодой голос.

Через полминуты в комнате появился и сам Евфимий — совсем ещё молоденький послушник, в длинном подряснике, с засученными рукавами. Очевидно, он только что

производил какую-нибудь домашнюю работу. Отец Мисаил обратился к нему.

— Ты, Евфимий, принеси-ка нам сюда чего-нибудь закусить. Да вина не забудь нашего, афонского... Вот вы, господин студент, наверно афонского вина не пробовали.

Евфимий исчез, а потом начал от времени до времени появляться, но уже не с пустыми руками, а с разными снадобьями, которые расставлял на столе. Тут была солёная рыба, без сомнения, не афонского происхождения, а прямо из рыбной лавки, паюсная икра, потом появились чёрные маслины с приправой из уксуса и прованского масла, присыпанные свежим зелёным луком. В заключение были принесены какие-то пирожки, тут же оказалась странного фасона бутылка, очевидно, с афонским вином, а в виде десерта были принесены орешки, относительно которых отец Мисаил прямо заявил, что они афонские.

— Ну, вот и закусим, — сказал отец Мисаил. — Да вы, может быть, водочку пьёте? — спросил он почему-то именно меня. — У нас и это можно, это не воспрещается. Это даже в монастырях разрешено: вино и сикера, — си-

кера ведь это и есть водка... Вот отец дьякон тоже, кажется, от сикеры не прочь... Евфимий, а принеси-ка сюда сикеру!

— Это что же, отец Мисаил? — с недоумением, хлопая глазами, спросил Евфимий.

— Ну, вот ты монах, а не знаешь. Ну, водку принеси. Там, в трапезной, на окне бутылочка стоит... Мы сами-то не пьём, — пояснил он мне, — а для приезжих, для наших почтенных гостей, держим.

Скоро Евфимий «сикеру» принёс и затем сам удалился. Жена отца Эвменидова уложила спящую девочку на кровать. Детям было выдано кушанье особо, и они смиренно ели на подоконнике. А взрослые, в том числе и отец Мисаил, уселись за стол.

Я должен признаться, что редко мне случалось есть с таким аппетитом, как в этот раз. Все эти монашеские блюда, которыми, впрочем, как прибавлял отец Мисаил, они сыты бывают, показались мне необыкновенно вкусными. И даже «сикера», на которой был прилеплен обыкновенная этикетка водочного магазина, обладала каким-то особенно-приятным вкусом. Мне кажется, что ви-

новник всего этого был отец Мисаил, который и своей фигурой, и удивительно счастливым видом, и приятным голосом, и ласковым взглядом придавал всему радостный колорит.

— Вот вы, молодой человек, маслинок покушайте, — говорил он, чрезвычайно ласково пододвигая ко мне тарелку с чёрными маслинами. — Вы всё рыбу кушаете; рыба — здешнего производства. А маслины прямо с Афона. У нас масличных деревьев сколько угодно. У каждого окошка монашеской кельи растут. И широко разрастаются их ветви, и тень от них бывает, не то, чтобы очень густая, а всё же... И вот орешков наших отведайте. Сами нашими монашескими руками собираем. А вино это, — я вам прямо говорю, — такого вина вы здесь не найдёте. Сладкое и запах ароматный имеет... Поистине благословенное вино, как и самый край наш благословен.

Я довольно усердно пробовал и маслины, и орехи, и вино. И то, и другое, и третье мне нравилось, а больше всего нравился мне сам отец Мисаил.

Следующие три дня я очень часто видел отца Эвменидова. Когда он приходил в университет, чтобы держать другие экзамены, то прежде всего разыскивал меня. Мы, очевидно, понравились друг другу.

Он сильно волновался. Насколько уверенно он шёл на экзамен математики, в которой чувствовал себя неуязвимым, настолько нерешительно входил он в аудиторию, где происходил экзамен по латыни и греческому языку.

— И зачем она мне, эта латынь? — говорил он мне. — В математике она совсем ненадежна. А вот срежут тебя — и стыдно будет. Да особенно перед отцом-настоятелем. Ежели я с позором вернусь, так уж он проходу мне не даст своими насмешками.

Я ободрял его. Я вместе с ним отправился в аудиторию и обратил его внимание на то, какие слабые ответы давали другие и как снисходительно относился к ним профессор.

Помню, как дошла очередь до Эвменидова, и он вышел к профессору отвечать по латыни.

ни, профессор сейчас же отличил его. Очевидно, о нём уже пошла молва по университету.

— А вы, батюшка, сколько лет как вышли из семинарии? — спросил Эвменидова профессор.

— Восемь лет будет уже! — ответил Эвменидов.

— Так вы, должно быть, порядочно позабыли латынь?

— Да оно, конечно, свежести этой нет...

— Ну, что ж вы хотите перевести? Возьмите, что вам нравится. Выберите сами...

Мне после рассказывал Эвменидов:

— И ведь вот оно, штука-то какая. Когда б знать это, что он такое снисхождение мне окажет, так оно бы можно приготовить какие-нибудь пять строчек, а то ведь и в голову не пришло. И я всё одинаково плохо знал... Я и выбрал, что первое попало на глаза, и начал. Ну и вёз же я, — словно ледащий вол... Однако, он, старик-то (профессор был старик), вижу, всё улыбается, значит, благорасположен, и так это меня ободрило, что я вдруг даже некоторое знание почувствовал и многие такие слова припомнил, каких ещё вчера не

знал... Да, благорасположение много значит.

После блестящих ответов по математике, о чём профессор, конечно, сообщил другим, к Эвменидову все остальные профессора относились крайне снисходительно. Хотя трудно было производить экзамен мягче, чем его производили всем поступавшим в университет семинаристам, тем не менее, для Эвменидова нашлась ещё одна стадия мягкости. Казалось очень трогательным, что дьякон, восемь лет служивший на деревенском приходе, обременённый семейством, питает такую страсть к науке, бросает приход и поступает в университет. Эвменидов одной своей рясой сразу завоевал общие симпатии.

И вот, через три дня, он опять возвращался в подворье, теперь уже с окончательно радостным видом, так как ему объявили, что он принят в число студентов.

— Вот я и студент, — весело говорил он жене, — теперь уже отец-настоятель надо мной смеяться не будет. Ну, значит, добрался-таки до своего, добился.

— Что ж теперь мне делать? — довольно кислым тоном спросила его жена. — К род-

ным ехать или как?

— Ты погоди, Марья, вот я сейчас к преосвященному схожу, потому преосвященный велел явиться к нему, когда моё дело в университете будет кончено. Вот мы поглядим, что он скажет, тогда и решим.

И он в самом деле в тот же день отправился к архиерею. Мы пошли с ним вместе, причём я, разумеется, остался на улице и ходил по панели минут двадцать, ожидая его возвращения. И мне было очень приятно видеть Эвменидова, когда он вышел из покоев архиерейских и быстрыми шагами направлялся ко мне. Лицо его сияло, и он издали, очевидно, не будучи в состоянии вытерпеть, громко говорил мне:

— Ох, как хорошо принял меня преосвященный! Вот видно, что человек умственный и понимает...

Мы пошли с ним домой, и он по дороге рассказывал мне о приёме у архиерея.

— Вышел, это, он ко мне и улыбается. «А, — говорит, — отец Эвменидов! Учёный муж? Прекрасно, — говорит, — прекрасно. Ну, что же, — говорит, — в университете тебя не ску-

шали? Оттуда метлой не вымели?» — «Нет, — говорю, — ваше преосвященство, не вымели, а приняли в студенты». — «Вот как, — говорит, — следственно ты глубокие познания обнаружил?» — «Не то, чтобы глубокие, — говорю, — ваше преосвященство, а всё же удивил, потому другие из наших, из семинаристов, сильно в математике хромают». — «Да, я это знаю, — сказал архиерей. — Ну, вот, когда ты будешь профессором, так ты их научишь хорошо математике, правда?» — Я говорю: «Постараюсь, ваше преосвященство». — «Так значит, ты теперь не дьякон, а студент?». — «Нет, ваше преосвященство, я и дьякон, и студент». Смеётся: «Как же ты, — говорит, — предпочитаешь называться: дьяконствующий студент или студенствующий дьякон?» Ну, и говорит дальше. Начал спрашивать про жену и про детей, и про отца-настоятеля тоже. — «Твой настоятель, — говорит, — стариковских взглядов держится, знаю. Ведь он семинарию-то кончил чуть ли не в прошлом-то столетии... Он при старой бурсе ещё учился... Знаю. Ну, это ничего, — откуда ему набраться других взглядов? Только как же ты теперь пи-

таться будешь?» — «Как-нибудь, — говорю, — пропитаюсь, ваше преосвященство». — «Вот жену к тестю придётся отправить. Удобно ли это?» — спрашивает. — «Нет, — говорю, — ваше преосвященство, не очень-то удобно. Тесть у меня человек небогатый; он дьякон, и приход у него не Бог знает какой, а семья большая». — «Так как же так?», — говорит. — «Да уж как-нибудь, — говорю, — пускай понатужится, а когда кончу курс, отплачу». — «Нет, — говорит, — это не хорошо. Это только прибавит тебе забот, а с заботами ты и в науках далеко не уйдёшь. Это, — говорит преосвященный, — уж я знаю. Вот по себе сужу. Когда я был архимандритом и жил в монастыре и никакой ответственной должности не нёс, так я тогда и науками занимался, и не только богословскими, а и другими... Вот географию изучал, я географию люблю... Потому сам изъездил добрую половину земного шара. Я миссионером был, ты знаешь, на Алеутских островах три года жил... А как дали мне епархию, да стало у меня множество забот, так я и в книгу не заглядываю, — некогда. Нет, это надо как-нибудь иначе устроить. Ты скажи,

много ты зарабатывал на приходе?» — Я ответил, — сперва подумал, а потом ответил. — «Ну, а половины тебе будет достаточно, чтобы с женой здесь прожить? Ведь ты теперь студент, так по-студенчески должен жить, т. е. плохо...» — «Как-нибудь хватило бы», — говорю. — «Ну, так мы вот что сделаем: пускай твой отец-настоятель там сердится, а мы всё-таки по-своему поступим. Есть у меня тут при архиерейской церкви лишний иеродиакон. Как монах, он человек одинокий и нрав имеет кроткий. Не молодой уже. Так вот этого иеродиакона мы и прикомандируем на твоё место, и пускай он половину дохода тебе даёт. Хорошо это будет?» — «Очень это будет хорошо, говорю, ваше преосвященство!» И я ответил ему земной поклон. — «Ну, вот, — говорит, — так мы и сделаем». И сейчас же взял да и написал бумагу и послал её, куда следует. Вот какие дела!

Вдруг всё изменилось в комнате подворья, которую занимало семейство отца Эвменидова. Когда он сообщил жене о результатах своего визита архиерею, с неё как будто сошла вся меланхолия, которая окутывала её лицо в

эти дни.

— Так это ж очень хорошо, — говорила она. — Этого нам как-нибудь хватит.

И с этой минуты она перестала сомневаться в будущности своего мужа и начала даже одобрять его стремления к науке. Вся суть была именно в том, что она боялась за своё материальное положение.

— Помилуйте, — говорила она мне, — четыре года у отца жить! Вы думаете, легко это? У отца полон дом людей, а тут ещё на беду он выпить любит... А как выпьет, делается ворчлив, придирчив. И постоянно бы он меня попрекал и над ним бы издевался... А я, знаете, за восемь лет привыкла к своему дому, так мне бы это было не легко... А теперь что ж? Скучность будет, это конечно, да мне это ни по чем; главное, чтобы вместе быть и чтобы в своём собственном доме.

Появился и отец Мисаил, и ему тоже Эвменидов рассказал о своём визите архиерею.

— Да вы у нас и оставайтесь, — говорил отец Мисаил, — вот эта самая комната и будет вашим жилищем, зачем вам больше. А нам приятно будет. Что ж, это ничего, что вы

мирские, у нас вон полон двор мирских, и каждый день меняются, всё новые, всё пришлые. Который раб Божий через город едет, либо так святыне пришёл поклониться, к нам и заходит, всё равно как к себе домой. Что-нибудь на Афонскую обитель пожертвует — и живёт себе тут. Народ не взыскательный. Коли есть комната — в комнате спит, а нет, так и в коридоре, и в сарае, а летом так и на дворе спят... Право, остались бы жить у нас...

— Нет, отец Мисаил, спасибо. Стеснять вас не могу. Да и, знаете, не привыкли мы в гостях жить. Оно, конечно, несколько дней это приятно, а потом пойдут разные недоумения... Сами же жалеть будете...

— Э, какие могут быть недоумения с монахами? Да ещё с афонскими... Жаль, жаль... А у нас как будто веселей стало, когда дети начали по двору бегать... Право. Вот и молодой человек к нам бы ходил. Мы бы с ним ближе познакомились, а там, может быть, ему так бы это понравилось, что он сам бы в монахи пошёл! — с улыбкой промолвил отец Мисаил на мой счёт...

Я, разумеется, ничего не ответил на это

предположение. В монахи идти я не собирался, да и отец Мисаил сказал это не серьёзно.

Отец Мисаил заинтересовал меня. Эвменидовы ещё несколько дней оставались в подворье, и я довольно усердно посещал их. В это время у меня было несколько случаев поближе познакомиться с отцом Мисаилом.

Ему было от роду лет за сорок. Происходил он из небогатой, но достаточной купеческой семьи, которая жила в большом губернском городе. Меня чрезвычайно занимал вопрос, что заставило его пойти в монахи. В нём собственно ничего не было такого, что обыкновенно бывает свойственно монахам; он никогда не говорил о божественном, охотно принимал участие в светских разговорах и только тогда замолкал, когда они принимали слегка соблазнительный оттенок. Занимался он здесь исключительно мирскими делами, так как заведовал подворьем, которое служило как бы гостиницей для приезжающих жертвователей на Афонскую гору. И однажды, когда мы были втроём, то есть, нас двое и жена Эвменидова, по разговору вышло удобным спросить его об этом, и я промол-

вил:

— Что же, отец Мисаил, заставило вас принять монашество? Простое влечение к этому образу жизни?

Я думал, что отец Мисаил затруднится ответить; я боялся, что нечаянно залез в тайники его души, куда он не захочет пускать никого. Но он ответил чрезвычайно просто:

— Нет, такого влечения не было. Я был очень даже светским человеком и чрезвычайно любил светскую жизнь, со всеми её удовольствиями. Я не был ни пьяницей, ни развратником, а любил покутить, знаете, как это водится в купеческом быту. А привела меня к монашеству любовь.

— Любовь к женщине? — не совсем решительно спросил я.

— Да. Полюбил я, извольте ли видеть, хорошую девицу из дворянской семьи. Была она образованная и вообще для меня пара неподходящая... Ведь мне образования никакого не дали. Так, лавочное, чтобы считать умел или больше обсчитывать... да в книжках записывать...

— И что же, она вам отказала?

— Нет, не то. Я, видите ли, был очень робок. Так, вообще, я был даже довольно смел в своём быту, но относительно этой девицы на меня всегда нападала робость. Вот, вы не поверите, что я даже ни разу не сказал ей о своём чувстве; не посмел. Я твёрдо знал, что она мне не пара. Но с той поры, как я полюбил её, я уже не мог наслаждаться благами мира, и казалось мне, что если отдам я себя другой, так оскорблю и её, и моё чувство к ней. Такое это было высокое чувство. А тут подошло, что родители задумали женить меня и выбрали, я вам скажу, хорошую девушку из нашего купеческого звания. Ну, что ж из того, что была она хорошая, когда я её не любил? И пришло мне в голову, что, женившись, я и её погублю, потому что жизни хорошей у нас с нею не выйдет. Тут уж я был посмелее, взял да и сказал ей всё это, и девица мне была за это благодарна. Так и сказал ей: считаю, говорю, что вы очень хорошая и добрая, и всякому другому можете счастье составить, а у меня другое в голове, и я не могу... Пожил я в миру ещё после этого годика два, всё думал — рассеюсь и как-нибудь это пройдёт. Так нет, не прошло.

Ну, тогда я и решил, что жить мне больше среди светских людей невозможно, и пошёл в монахи. И хорошо сделал. Ах, как хорошо!..

— Теперь забыли, значит? — спросил я.

— Нет, никогда не забывал. Но она у меня, в моей душе, теперь вроде как бы ангелом сделалась. Об ней я ничего не слышал и не знаю, какая она в жизни оказалась; может быть, хорошая, а может быть, и дурная. Да мне этого и знать не надо. Я сохранил в душе о ней воспоминание, — о ней, об такой, какой знал её, или, может быть, воображал, — Бог знает. И я так себе говорю, что если есть на небе столько-то ангелов для всех остальных людей, так я счастливее всех, потому что для меня одним ангелом больше. И я счастлив.

Тем не менее, я не выразил желания поступить в монахи.

Отец Эвменидов очень твёрдо отказался жить в подворье. По его расчётам, иеродиакон, назначенный архиереем, заработает ему достаточно, чтоб как-нибудь прожить и прокормиться на вольной квартире.

— Ведь я теперь студент, — весело говорил он, — а ты, выходит, — прибавлял он, обраща-

ась к жене, — студенческая жена, следовательно мы и жить должны по-студенчески. А студенты, я слышал, небогато живут. Мне один рассказывал, что у него все четыре года, что провёл он в университете, была комната на чердаке, два аршина длины; а стояли в ней кровать да стул один, и более ничего; ну, а у нас, — у нас-то всего побольше будет.

Вообще и исход экзаменов, и приём у архиерея оживили отца Эвменидова. Он даже как будто вдруг помолодел, и борода у него стала расти прямее.

Однажды, когда мы все были вместе, в коридоре послышались шаги, а потом стук в дверь. Оказалось, что это был Евфимий.

— Что тебе? — спросил его отец Мисаил, подойдя к двери.

— Там монах какой-то спрашивает отца диакона.

— Монах?

— Говорит, из архиерейского дома пришёл...

— Ага, — сказал Эвменидов, — это значит иеродиакон; можно впустить его сюда, отец Мисаил?

— Отчего ж бы и не впустить? Милости просим. Попроси сюда, Евфимий, отца иеродиакона.

Через минуту в комнату вошёл небольшого роста старенький монах, с редкой седенькой бородкой, с морщинистым лицом, согбенный. Он остановился на пороге, поискал глазами образ и, найдя его в углу, трижды перекрестился, а потом по-монашески поклонился сперва отцу Мисаилу, а затем и остальным.

— Владыка послал меня сюда, — сказал он тоненьким, почти детским, голоском. — Назначен владыкою служить...

— Так, так, — забасил Эвменидов, — пожалуйста, отец иеродиакон. Пожалуйста, садитесь. Вас назначают на моё место?

— Да, преосвященному владыке угодно было назначить! — смиренно сказал монах и с ещё бо?льшим смирением опустился на подставленный ему стул около стола.

На столе была кое-какая закуска: по обыкновению маслины, солёная рыба, которыми обильно отец Мисаил угощал своих друзей.

— Не угодно ли закусить? — предложил Эвменидов. — Пицца монашеская, — приба-

вил он, — нам отец Мисаил другой не даёт, он нас в строгости держит.

Монах перекрестился и приступил к маслинам.

— Это и у нас в монастыре в ходу! — сказал он. — Благословенная пища.

— А вы из какого же монастыря? — спросил его отец Мисаил.

— Я собственно из Святодуховского, в двадцати верстах отсюда, но преосвященный полюбил меня и вызвал оттуда к себе. И теперь я, вот уже года четыре, при архиерейской церкви состою, хотя и не имею штатной должности. А позвольте спросить, — продолжал он, обращаясь к Эвменидову, — большой приход ваш? Преосвященный мне ничего не сказал насчёт этого.

— Да, приход немалый, — ответил отец Эвменидов, — работы довольно будет. Притом и настоятель человек строгий, это я вам прямо говорю.

— Что ж, это ничего, что строгий, — отозвался монах, — моё дело монашеское — послушание. Чем строже, тем оно лучше. Больше заслуги, ежели послушание строгое.

— Оно так, а только всё же старому человеку, ежели над ним измываться будут, не очень-то приятно. А настоятель у меня, можно сказать, крутой человек. Любит иной раз посамодурствовать.

— Ничего, ничего, — просто говорил монах, — я в разных переделках бывал, всего на своём веку испытал... А позвольте спросить, велик доход?

Отец Эвменидов, по-видимому, произвольно посмотрел на меня и довольно-таки выразительным взглядом, как будто хотел сказать: ишь ведь монах, а про доход спрашивает

— Это как придётся, — ответил он. — Ежели в урожайный год, так можно заработать и больше тысячи рублей...

— Собственно на мою долю? — с большим любопытством спросил монах.

— Э, нет, батюшка, где ж таки! Это всего — тысячу рублей. Ежели б такой доход был, чтобы на дьяконскую долю до двух тысяч, — так это что ж... Тогда и городские причетники в деревню ехали бы... Нет, этого нигде не бывает. Это весь доход, батюшка, а надо делить его

пополам, как приказал преосвященный...

— Так, так... Что ж, и за то благодарение Создателю. Я собственно потому спрашиваю, отец диакон, что при архиерейской церкви служу я безвозмездно. Так только — келью получаю, да питание... а об одежде никто не думает... Преосвященному сказать неловко, а рясенка-то у меня обносилась, ну и прочее там, по части белья, тоже скудно... Так я собственно по этому и спрашиваю.

Я взглянул на Эвменидова и опять прочитал в его глазах: «ой, лукавишь, отче; а просто видно-таки, что ты деньгу любишь».

Монах закусил, запил вином афонского происхождения и поднялся. Он опять набожно перекрестился на образа и отвесил поклон отцу Мисаилу. А затем обратился к Эвменидову:

— Когда же ехать-то надо, отец диакон, и каким путём доставлюсь?

— А так и доставитесь, батюшка. Вот завтра я поеду сам туда, должность отцу-настоятелю сдавать. Хотя я и не выхожу в заштат, а всё ж таки надо сдать: там метрические книги и прочее. Вот вместе и поедем. Жену-то я с

детьми тут оставлю, у отца Мисаила, под его присмотром, а мы с вами вдвоём и покатим.

Монах сперва, по-видимому, хотел было уходить, но затем, должно быть, ему понравилось наше общество, а может быть, это произошло оттого, что, по распоряжению отца Мисаила, Евфимий уже притащил шипящий самовар, — и он остался. Этот самовар шипел в продолжение целого дня, переходя из комнаты в комнату и таким образом путешествуя вместе с Евфимием по всему монашескому подворью. И мы скоро опять присели к столу, с которого уже были убраны тарелки и на их место поставлены стаканы.

Меня заинтересовал монах своим внешним видом, своей смиренной манерой и в особенности каким-то изношенным, истомлённым лицом. Черты лица этого были грубы, в них не было ничего возвышенного и духовного. Можно было догадаться, что этот человек действительно, как он сам говорил, много претерпел в своей жизни. Я подсел к нему и завёл с ним разговор.

— А вы сами из каких будете, батюшка? — спросил я.

— Я из крестьян, милостивый господин, — ответил монах, — из крестьян государственных. Крепостным человеком никогда не бывал, но всё же претерпел много.

— Вы как же, по какому-нибудь случаю в монахи пошли или по влечению?

— Единственно по влечению, милостивый господин. Никакого случая в моей жизни не было. Моя такая жизнь, что, можно сказать, в ней никогда никаких случаев не бывало. Так тянулась она год за годом. Тяжеленько это, правда, да Бог милостив, до гибели не допустил... Был я грамотен в крестьянском быту, и в церкви на клиросе читал и пел, и таким манером церковному делу научился. Оттого монастырский игумен и возвысил меня, и вот иеродиаконойского сана удостоил. Даже иеромонахом обещали сделать, ежели б в монастыре оставался, да вот завертелся тут при архиерейской церкви, уж так, должно быть, иеродиаконом и умру... У нас, в монастыре, грамотного человека ценят.

— Разве это такая редкость? — спросил я.

— Как вам сказать? Оно, пожалуй, все грамотны, да как? Так, знаете, еле-еле буквы раз-

бирают. Народ всё больше простой. Вот только игумен у нас из образованных, это действительно, — в прежнее время фельдшерским делом занимался... А когда человек может бегло читать, да к тому же ещё и писать, так уж это прямо на редкость.

Монах оставался с нами недолго; через полчаса он ушёл и сказал, что завтра придёт опять, чтобы вместе с Эвменидовым ехать.

На другой день они уехали.

## IV

Через неделю после этого отец Эвменидов вернулся из деревни, благополучно сдав свою должность иеродиакону в присутствии своего строгого настоятеля. При этом он рассказывал, что старый настоятель смотрел на него очень сурово и даже не захотел дать ему благословения.

— Вот чудак-то! — говорил Эвменидов, — словно я каким-то нечистым сделался оттого, что в университет поступил. Вот он, старый-то человек! Никак понять не может, что и церковная служба, и наука — всё ведь от Бога зависит...

Он нанял себе небольшую квартирку в две комнаты с кухней, перевёз в неё кое-какую мебель из деревни, и зажили они с женой новой жизнью. Жена его больше не дулась и не вздыхала. Она чувствовала себя даже лучше, чем в деревне.

— По крайней мере, тут никаких забот особенных нет. — говорила она. — Там и корову два раза выдои, и за птицей присмотри, и свиней покорми... И то и сё... А тут ничего

этого нет. Сходила на рынок да в лавку бакалейную, — вот и все продукты есть... А главное, — прибавляла она с особенным увлечением, — главное, я вам скажу, что меня радует, так это плита. Поверите ли, как я мучилась там, в деревне! Печка у нас была большая и постоянно дымила, ничего нельзя было поделывать против этого, — а тут вот плита. Поставишь кастрюльку да сковородку, оно само себе и варится. Куда как легче в городе жить!..

Они поселились неподалёку от университета. Эвменидов сделал это нарочно, чтобы ближе было ходить. И уж он был самым аккуратным посетителем аудитории.

Он не пропускал ни одной лекции, и потом, когда возвращался домой, долго сидел за столом над бумагой и по памяти записывал то, что слышал на лекции. Любовь к математике у него была нешуточная. Он постоянно носился с разными теоремами да выкладками и был в восторге от высшей математики, в область которой, наконец, вошёл его ум.

— Занимательная штука, я вам скажу! — говорил он мне. — Я думаю, нет другой науки во всём мире такой высокой, такой умствен-

ной, как высшая математика.

Достаточно было взглянуть на этого человека, когда он шёл по улице или по университетскому коридору своей спокойной и размеренной походкой, чтобы сразу сказать, что он был очень доволен своею жизнью. В лице у него было выражение какого-то блаженства. И это отражалось на его обращении с товарищами. Он был со всеми ровен, благодушен, старался оказывать услуги, и все находили приятным проводить с ним время.

В одном только долго он не сдавался. Большинство товарищей прямо из университета обыкновенно отправлялось в излюбленный ближайший трактир; здесь все обедали. Пища в этом трактире была плохая и дешёвая. Но зато здесь студенты чувствовали себя как дома. И много раз соблазняли товарищи отца Эвменидова.

— Почему бы вам не зайти, — говорили ему, — там нет ничего греховного. В той комнате, где мы сидим, нет никого постороннего. Послушали бы наши разговоры, отдохнули бы, как мы все там отдыхаем...

— Да от чего отдыхать-то? — спрашивал

Эвменидов. — Мне отдыхать-то не от чего. Жизнь моя спокойная, приятная. Жена у меня добрая, дома тишина. Дети не балуют... От чего я буду отдыхать?

— Да, так, всё-таки в кругу товарищей...

— Да, это правда, круг товарищеский мне приятен. Да только, знаете, неловко как-то — в таком одеянии, и вдруг в трактир...

— Да какой же это трактир? — возражали ему. — Ведь это всё равно, что вы у нас в гостях будете. Ведь мы вам говорим, что там никого постороннего нет.

Эвменидову, в сущности, очень хотелось исполнить просьбу товарищей, и он советовался со мной, как ему поступить. Я не видел ничего преступного, с его точки зрения, в том, что он зайдёт в трактир, и посоветовал ему сделать это. И вот, как-то однажды, он, наконец, решился. Он взял меня в проводники, и мы избрали путь через двор, откуда никто не входил и появились в студенческой комнате. Это всем доставило искреннее удовольствие, и все начали предлагать Эвменидову что-нибудь выпить, но он отрицательно качал головой.

— Могу только чай пить. — говорил он. — Дома, знаете, можно пропустить рюмочку-другую, а тут нет. Тут не полагается. Не могу, знаете, как-то она и не полезет в глотку, не привык...

Так он ни разу и не согласился выпить ничего, кроме чаю. А между тем посещение отдельной комнаты трактира ему пришлось по вкусу; он стал заходить сюда часто. Большая часть времени проходила здесь в горячих студенческих спорах, и Эвменидов ужасно любил слушать эти споры.

— Я собственно сам мало понимаю из того, что они говорят, — объяснял он мне, — там всё что-то про Милля да про Смита, а я, признаться, ни Милля этого, ни Смита никогда не читал; слышал, правда, что есть такие писатели, а читать было их некогда... Но очень уж хороши у них лица когда они спорят. Так хороши, что, кажется, смотрел бы весь век — и всё не устал бы... Эти глаза, как разгорятся, и голоса — как колокольчики... Люблю я их в это время.

И он часто стал заходить в трактир, чтобы посмотреть на эти лица и глаза и послушать

эти голоса, звонкие, как колокольчики.

Так прошёл год. Все привыкли к Эвменидову и к его рясе, и казалось, что он был совершенно необходимой принадлежностью университетского коридора и аудитории. Всем показалось бы странным, если бы хоть однажды Эвменидов не пришёл и не было бы среди них этой высокой фигуры с спокойным лицом, в длинной серой рясе с широкими рукавами.

Я как-то заметил, что в продолжение нескольких недель у Эвменидова было какое-то меланхолическое выражение в глазах.

— Что это вы, как будто вам не себе? — спросил я его как-то.

— Именно не по себе. Это, я вам скажу, так и есть, — ответил он.

— Да что же с вами? Случилось у вас что-нибудь?

— Нет, ничего не случилось. А я вам скажу: скучаю я по службе церковной.

— Так ведь вы же каждое воскресенье бываете в церкви!

— Нет, не в этом смысле. Я, конечно, каждое воскресенье бываю в церкви, как же ина-

че?.. А только не в этом дело. Восемь лет я был в приходе и, знаете, привык каждую неделю совершать службу Божию... А тут вот столько времени совершать не приходится, вот мне и скучно стало...

— А разве вы не можете в какой-нибудь церкви служить обедню?

— Да как вам сказать, — конечно, можно, надо только попросить местного настоятеля; так ведь это ж целая история! У них свои дьякона есть, ну, подумают, что я чего-нибудь добиваюсь, интригую там. Знаете, в нашем быту народ всё подозрительный, всякому так и кажется, что под него подмываются... А я уже вот что подумываю. Хочу сходить к преосвященному, не разрешит ли он мне в архиерейской церкви обедню отслужить.

И он действительно пошёл к архиерею.

Архиерей узнал его, принял ласково и с величайшим одобрением отнёсся к его желанию.

— Вот и видно, — сказал ему архиерей, — что твой старый настоятель был не прав, и мне это очень приятно, что он был не прав. Он думал, что ты, как станешь студентом, так

сейчас и светский образ мыслей усвоишь. Ан, выходит, что ты по духовной службе скучаешь... Значит, как тебя ни учи светской науке, а всё же душа у тебя духовная, и никак её не переделаешь, и духовным ты останешься... Это мне приятно. Можешь служить обедню в моей церкви.

В ближайшее воскресенье архиерейская церковь представляла необычайный вид. Кроме обычных молящихся, она была наполнена массой студентов, которые явились смотреть на то, как будет служить Эвменидов. Эвменидов служил преисправно. Его басистый голос звучал как-то особенно ясно и весело, он понравился не только молящимся прихожанам, но и монахам.

— Ну, вот, — говорил после этого Эвменидов, — теперь мне и легче стало. Никак нельзя без этого. У каждого есть своя сфера. Всё равно, как рыба необходимо должна в воде плавать...

С этих пор он старался хоть раз в месяц принять участие в церковной службе в архиерейской церкви. Архиерей разрешил это ему раз навсегда, а местный причт был этим

очень доволен. У него даже образовался круг своего рода поклонников. И можно было заметить, что в те дни, когда служил Эвменидов, в архиерейской церкви бывало больше народу, чем обыкновенно.

Помню я один случай. Неожиданно умер товарищ, бывший на одном курсе с Эвменидовым и тоже математик. Умер он как-то странно. Ещё две недели перед этим в студенческой комнате трактира раздавался его горячий голос и лихорадочным блеском горели глаза. Правда, голос этот был сильный и глухой, и речь его часто прерывалась кашлем. Но никто тогда не подозревал, что конец его так близок.

Вдруг он слёг и как-то очень уж быстро угас. Были похороны. Конечно, все товарищи явились и приняли в них участие. Когда тело товарища принесли в университетскую церковь, Эвменидов отыскал ректора и подошёл к нему.

— Уж дозвоьте, пожалуйста, принять участие в службе, — обратился он к ректору. — Вместе учились, товарищи были, на одной скамье сидели... Надобно помолиться...

Ректор, разумеется, ничего не имел против этого, и сам лично попросил священника, который был в тоже время профессором богословия, допустить Эвменидова к исполнению дьяконской службы. И вот Эвменидов облачился в стихарь и начал служить обедню, Потом было отпевание, в котором он также принял участие.

После этого он не раз говорил мне:

— Как вспомню его, как он ещё несколько дней тому назад с жаром доказывал всем нам, что каждый человек обязан своим счастьем жертвовать для пользы людей, так просто сердце надрывается. Вспомнил я это и тогда, когда глядел на него в церкви, как он лежал мёртвый... Поверите ли, не мог удержаться, слёзы так сами и полились.

И в самом деле, тогда, в церкви, произошёл удивительный эпизод, который надолго остался памятен всему университету.

Вышел Эвменидов на средину церкви, где стоял гроб товарища, и начал что-то читать, по положению. Но вдруг голос его прервался, и слёзы помешали ему продолжать чтение. И так это на всех повлияло, что вся церковь, на-

полненная молодёжью и профессорами, дрогнула, и у всех полились из глаз слёзы.

После этого случая, Эвменидов сразу стал как-то удивительно близок всем. К нему уже весь университет являлся запросто, и все чувствовали себя у него, как у старого друга.

Скоро мы расстались с ним. Я кончил учёные на два года раньше, чем он, и уехал из города.

Но чрез несколько лет мне пришлось опять побывать там, и я, конечно, первым делом отыскал Эвменидова. Оказалось, что он кончил курс с отличием. Был даже разговор о том, что он достоин дальнейшего учения на казённый счёт. Но это было неудобно. В этом случае его ряса явилась бы прямым препятствием, да и сам он не хотел.

— Нет, уж, — сказал он, — довольно и этого. И это уж Бог послал мне такое счастье, какого я не заслужил... Что ж, у меня семья, возраст мой не такой уже молодой... Где же мне высшей наукой заниматься? Если заниматься ею, так надобно предаться ей вполне: я так это дело понимаю. И я бы мог предаться, Да, мог бы до самозабвения... Да только и поздно,

и не с руки...

Таким образом этот вопрос был оставлен. Эвменидов получил в том же городе место преподавателя математики в семинарии. Скоро его сделали священником, но прихода он не взял, а удовольствовался скромным местом при домово́й церкви. Работы здесь было немного, треб совсем никаких не было. У него оставалось много свободного времени, и он мне признавался:

— Блаженствую, истинно блаженствую! Знаете, я теперь и книжки стал читать, потому — времени достаточно, и ничем я не стеснён. Семейство моё обеспечено. Отчего ж мне и не почитать? И знаете, кого я прочитал? Помните, тогда разговоры были всё про Милля да про Смита... Ну, к Сми́ту, я вам скажу, я было приступился, да очень уж он длинный, не побороть мне... А Милля я прочитал, не могу сказать, чтобы всё было мне удобопонятно, а всё ж многое вынес из него.

Когда я встретился с ним, в наружности его я заметил некоторую перемену. Он несколько постарел. В бороде появилась седина, волосы на голове поредели. Но в характе-

ре его остались преобладающими всё те же прекрасные черты, которые так нравились всем, когда он был студентом: неизменное добродушие и удивительная ровность в обращении со всеми.

Любил он вспоминать годы, проведённые в университете.

— Эх, — говорил он, — правду сказать, лучшего времени не было в моей жизни... Славный народ всё был, чудо — что за народ!.. Всё молодой, откровенный, прямодушный и горячий такой!.. Всё честный народ был!.. Приятно было в таком обществе жить... И знаете, что я вам скажу: потом уже я не встречал таких. И если правду говорить, так и те, что тогда были хорошими, потом, когда встречал я их в жизни, уже не такие были... И отчего это происходит? — спрашивал он меня с выражением грусти в глазах. — Отчего это человеческая душа так портится?.. Должно быть, жизнь портит, а? Как вы полагаете?